

18+

Мария Семкина

Я был сегодня...

Я сегодня был...



Мария Семкина

Я был сегодня... Я сегодня был...

«Издательские решения»

Семкина М.

Я был сегодня... Я сегодня был... / М. Семкина — «Издательские решения»,

Книга о зависимости, которую можно победить... Я был сегодня, или Я сегодня был? История человека, злоупотребляющего алкоголем и мысли об этом... Необычный путь к трезвости.

© Семкина М.

© Издательские решения

Я был сегодня... Я сегодня был...

Мария Семкина

© Мария Семкина, 2026

ISBN 978-5-0071-1110-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я хотела продать квартиру родителей. Но оказалась она под арестом и ничего не поменяешь так как есть бюрократические препоны, которые пока нельзя убрать. Есть версия, что возможно квартира не хочет продаваться... Что возможно на меня обиделись прошлые хозяева... Дед, получил квартиру от государства. Отношения были уважительные, но не теплые... дед служил Родине, а по нему много писал мемуары... не читала, мало общалась, он возможно сам так хотел... не помню, была большая разница в возрасте более 70 лет... Бабушка... Отец... отношения были очень хорошие, теплые воспоминания с детства... но потом отстранилась из-за характера и увлечения таким же как у Хемингуэя... в последний год жизни, почти не видела, родился ребенок, а жил достаточно далеко... не успела в принципе проститься... встал с кровати... попросил воды и упал, умер... как бы иногда хотелось переиграть детство, отношения... до сих пор не переносю рядом людей, которые употребляют алкоголь более чем обычно и допускается... обществом

Квартира пахла старым деревом и чаем с чабрецом — запах, который я не спутаю ни с чем. Я стояла посреди комнаты, глядя на квитанцию с красной пометкой: «Арест имущества». Всё казалось нелепым, как в плохом детективе: хотела просто закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, а вместо этого наткнулась на глухую стену из бумаг, печатей и чужих равнодушных подписей.

«Наверное, квартира не хочет продаваться», — прошептала я вслух, будто проверяя, насколько глупо это звучит. Но в тишине комнаты фраза не казалась глупой. Здесь всё было пропитано чужими жизнями: дед, который получил эту квартиру от государства, как награду за службу, потом писал мемуары, аккуратно выводя буквы твёрдой рукой. Он не был ласковым, но и не был злым — просто держал дистанцию, будто боялся разменять свою строгость на пустяки. Разница в возрасте между нами была такой огромной, что мы жили как будто в разных эпохах: он — в памяти о войне и долге, я — в своих детских страхах и мечтах. Мы уважали друг друга, но так и не научились говорить по душам.

А вот с отцом всё было иначе. С ним можно было молчать и всё равно чувствовать тепло. Он смеялся громко, обнимал крепко, и в его присутствии любые беды казались меньше. Потом, когда я повзрослела, мы стали реже видеться — не из-за ссоры, а из-за того, как жизнь раскидывает людей по разным углам. А потом и вовсе отдалились: у него появились свои увлечения, что-то похожее на страсть Хемингуэя к приключениям и одиночеству. И я, упрямая, не стала тянуть обратно, решила: пусть будет так. Теперь от этих решений остаётся только горечь.

Бабушка... О ней я вспоминала по мелочам: как она тихо напевала себе под нос, как всегда ставила на стол лишнюю тарелку, будто ждала кого-то. В последний год она жила далеко, и я почти не навещала её: родился ребёнок, всё время уходило на новое, хрупкое счастье, которое требовало всего меня без остатка. Когда позвонили и сказали, что её больше нет, я застыла с кастрюлей в руках, вода кипела и выплёскивалась на плиту. Она встала с кровати, попросила воды, сделала шаг — и упала. Всё закончилось за одну секунду, за один неслеланный глоток.

Я села на пол прямо там, среди коробок и старых фотографий, и вдруг поняла, что не переношу запах спиртного. Не потому что осуждаю, а потому что он царапает память: в нём есть что-то от той беспомощности, от того момента, когда человек просит воды, а ты не можешь ничего сделать.

Квартира стояла вокруг меня, молчаливая и тяжёлая, как свидетель всех этих историй. Бюрократия, арест, невозможность что-то изменить — всё это было снаружи. А внутри продолжали жить дед с его мемуарами, отец с его тёплым смехом, бабушка, которая всегда ставила лишнюю тарелку. И, может быть, именно поэтому квартира «не хотела» продаваться: она хранила их, а значит, хранила и меня — ту, какой я была рядом с ними.

Я провела рукой по облупившейся краске на дверном косяке — там, где когда-то отмечали мой рост. И вдруг почувствовала, что не нужно ничего продавать прямо сейчас. Пусть пока всё останется как есть. Пусть эти стены ещё немного подержат наши истории, чтобы они не рассыпались в тишине. Отец всегда говорил, что у него два характера — один для «Архстрой проекта», другой для дома. В кооперативе он был как стальной стержень: голос твёрдый, решения быстрые, ни одного лишнего слова. Люди к нему тянулись не из-за мягкости, а из-за того, что рядом с ним всё начинало двигаться: сметы сходились, сроки не срывались, даже самые упрямые заказчики кивали и подписывали. Он умел держать на себе целую конструкцию из людей и задач — будто сам был несущей стеной.

А дома этот стержень будто давал трещину. Сначала незаметно: бокал после тяжёлого дня, потом ещё один «чтобы снять напряжение», потом уже не ради снятия, а просто чтобы день перестал давить. И от этого было особенно горько: человек, который на работе мог удерживать целый проект, дома не мог удержать себя от ещё одного глотка.

Я помню, как однажды пришла к нему в кабинет в «Архстрой проекте». Там пахло свежей бумагой, кофе и деревом от макета, который он сам собирал. Он сидел, склонившись над чертежом, и вдруг поднял глаза, улыбнулся той самой улыбкой, от которой сразу становилось спокойно: «Ну, заходи, рассказывай. Тут у нас всё под контролем». И правда было под контролем: линии ровные, расчёты точные, каждый элемент на своём месте. Он любил порядок, любил, когда всё ясно и по делу. Наверное, именно поэтому хаос внутри себя он переносил тяжелее всего.

Потом мы шли домой, и порядок начинал рассыпаться. Он становился тише, потом резче, потом снова тише, будто сам себя гасил. А я училась ходить по квартире на цыпочках, не хлопать дверьми, не задавать лишних вопросов. И всё равно любила его. Не за то, каким он становился, а за то, каким он умел быть: сильным, внимательным, настоящим. За те минуты, когда он снова становился тем самым отцом, который держит всё под контролем.

Однажды я не выдержала и спросила: «Почему ты это делаешь? Ты же можешь остановиться». Он долго молчал, глядя куда-то мимо меня, а потом тихо сказал: «Я строю дома для людей, чтобы у них было место, где можно спрятаться от ветра. А себе такого дома построить не могу». В этих словах было столько усталости, что мне захотелось обнять его и одновременно плакать.

С тех пор я перестала ждать, что он вдруг станет другим. Вместо этого я стала собирать моменты, когда он был собой: как он показывал мне, как читать чертежи, как смеялся над какой-то своей шуткой, как гордился, когда «Архстрой проект» сдавал очередной объект. Эти моменты я складывала в отдельную коробочку в памяти — туда, где нет ни горечи, ни упрёка, только свет.

И когда теперь я смотрю на эту квартиру, на её стены, на старые фотографии, мне кажется, что отец тоже где-то здесь. Не в той боли, что осталась от его слабости, а в умении держать на себе что-то важное, в желании, чтобы у людей был свой дом, свой угол, где можно перевести дух. И, может быть, именно поэтому я не тороплюсь её продавать. Пусть эти стены

ещё немного хранят и его тоже — того, кто строил для других, но так и не смог достроить для себя.

Перелом случился не в какой-то громкий день, а в самый обычный. Отец пришёл в «Архстрой проект» утром, как всегда, в строгом пиджаке и с папкой под мышкой. Только на этот раз, едва переступив порог кабинета, он не сел за стол, не развернул чертежи, а просто постоял, глядя на макет нового жилого квартала — на эти аккуратные домики, на дорожки, на крошечные деревья. И вдруг понял: он столько лет строит людям дома, чтобы у них было место, где можно спрятаться от ветра, а сам всё время будто стоит под этим ветром.

В тот день он не стал ничего объяснять — просто тихо попросил главного инженера взять на себя срочные согласования и ушёл. Не домой, не туда, где привычно становилось тяжело, — а на участок за городом, который давно купил, да всё руки не доходили. Там стоял старый фундамент, оставшийся от чьего-то брошенного проекта: неровные бетонные блоки, поросшие травой, и тишина, в которой слышно было, как ветер гуляет между деревьями. Отец сел прямо на траву, достал из кармана бутылку — и впервые за долгое время не откупорил её, а долго вертел в руках, будто это был не привычный спутник, а чужой, тяжёлый предмет. Потом медленно, будто сбрасывая что-то очень старое, бросил в дальний угол, где её уже не будет видно.

Он начал строить свой дом не с размаха, а с малого: сначала расчистил участок, потом выровнял фундамент, потом положил первые ровные ряды кирпича. Каждый день он приезжал туда после работы или рано утром, до всех встреч, и делал ровно столько, сколько мог: не больше, не меньше. В этом ритме было что-то успокаивающее — чёткие линии, прямые углы, вес материалов в руках. Здесь не нужно было ни оправдываться, ни прятать усталость: дом принимал всё как есть.

Однажды я приехала к нему туда без предупреждения. Увидела, как он, склонившись, аккуратно подгоняет доску, проверяет уровень, хмурится, если линия хоть чуть-чуть уходит в сторону. Он поднял глаза, улыбнулся — не той натянутой улыбкой, которая раньше появлялась, когда ему становилось неловко, а настоящей, спокойной.

— Решил, что пора и себе построить угол, где будет тихо, — сказал он, вытирая руки о рабочие перчатки.

Я не бросилась его обнимать, не стала говорить громких слов. Просто взяла вторую пилу, которую он держал рядом, и тихо спросила:

— Что нужно сделать?

И мы стали работать вместе: я держала доски, он крепил, мы спорили о том, какой должна быть крыша, смеялись над тем, как криво поначалу у меня выходили стыки. В этой работе не было места лишним словам и тяжёлым паузам. Только дело, только руки, только результат, который можно потрогать.

Со временем «Архстрой проект» стал для него не просто работой, а опорой: он всё чаще передавал молодым архитекторам сложные, творческие задачи, а сам брал на себя то, что любил больше всего, — контроль качества, выезд на площадки, долгие разговоры с прорабами о том, как сделать не «в срок», а «на совесть». А вечерами он уже не искал повода уйти в тишину с бутылкой — он ехал на свой участок, к своему дому, к этим стенам, которые росли ровно настолько, насколько он был готов их удержать.

Дом получился не большим, но удивительно правильным: с широкой верандой, куда по утрам падали солнечные лучи, с окнами, из которых было видно, как садится солнце, и с дверью, которая открывалась легко, без скрипа. Когда мы впервые вошли туда вдвоём, отец остановился на пороге, глубоко вдохнул запах свежей древесины и тихо сказал:

— Вот. Теперь у меня есть место, где я могу просто быть.

И в этом «просто быть» было столько силы, что мне вдруг стало спокойно: не потому что прошлое исчезло, а потому что теперь у него появилась опора, которую никто не мог у него забрать.

А квартира родителей осталась стоять там, где стояла. Но теперь она уже не казалась мне глухой стеной из печатей и запретов. Она хранила старые истории, старые шаги, старые голоса. А у отца теперь был свой дом — его собственный, построенный своими руками. И этого оказалось достаточно.

Осень в тот год выдалась на редкость тихая. Листья не срывались с деревьев порывистым ветром, а медленно опускались на землю, будто не хотели торопить время. Отец теперь почти каждый вечер уезжал не туда, где раньше искал короткую передышку от дня, а на свой участок. И я всё чаще ездила с ним — не потому что он просил, а потому что мне хотелось быть там, где он становился собой.

Однажды, когда мы сидели на ещё не достроенной веранде, завернувшись в старые пледы, я тихо спросила:

— Пап, а почему люди пьют, когда им скучно? Когда вроде бы всё есть, а внутри будто пустота?

Он помолчал, глядя, как солнце садится за деревьями, и ответил не сразу. А когда заговорил, слова звучали не как поучение, а как признание:

— Знаешь, дочка, пустота ведь не от того, что делать нечего. Она от того, что не за что держаться. Когда нет дела, которое тебя держит, когда нет угла, который ты сам построил, тогда эта пустота начинает давить. И кажется, что самый простой способ её заглушить — это налить себе чего-то, чтобы вечер перестал быть таким длинным.

Он провёл рукой по доскам перил — ещё не лакированным, шершавым, пахнущим деревом.

— Я ведь и сам так думал: день тяжёлый, голова гудит, всё навалилось — ну как тут не выпить? Будто это единственный способ сказать себе: «Всё, хватит, я сегодня больше ничего не решаю». Но потом понимаешь, что тишина после этого не настоящая. Она не лечит, она просто глушит. А утром пустота возвращается, да ещё и с тяжестью.

Я слушала и думала о том, как часто мы ищем быстрые способы спрятаться от тишины, не замечая, что настоящая тишина — это не пустота. Это когда есть дело, есть руки, есть стены, которые ты сам возвёл.

— А теперь? — спросила я.

Отец улыбнулся спокойно, без напряжения:

— Теперь у меня есть это место. Свой угол. Здесь не надо ничего заглушать. Тут можно просто сидеть и слушать, как ветер шевелит листья, как где-то далеко лает собака, как скрипит половица, когда ты делаешь шаг. Это и есть жизнь — в этих маленьких звуках. И когда у тебя есть своё дело, свои руки, свой дом, тебе уже не скучно. Потому что каждый день тут что-то нужно поправить, что-то подтесать, что-то придумать. Даже если это просто решить, какого цвета будут ставни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.